

---

*Мирко Вишке***ЛОЖЬ И СМЕХ. НИЦШЕ О «ПЕССИМИЗМЕ СИЛЫ»***(перевод с немецкого Ольги Корольковой)*

Что такое понятие *трагического* для Ницше?

Чтобы получить ответ на этот исходный вопрос, в первой части моих рассуждений я сконцентрируюсь на понимании правды у Ницше в том виде, в каком оно оформилось в 1870-е годы; вторая часть моих исследований касается представлений Ницше о языке; в третьей части меня будет интересовать проблема, которой Ницше активно занимался в 1880-е годы, а именно – каким образом может быть представлена деятельность философского создания языка. Как должно показать мое исследование, вопрос о понимании Ницше трагического в контексте его представления о языке неразрывно связан с проблемой нигилизма.

**I. Правда как заблуждение и иллюзия.**

Согласно Ницше, существует «лишь один мир, и он фальшив, ужасен, противоречив, он полон соблазнов и лишен смысла.[...] Такой мир и есть истинный мир.[...] Мы нуждаемся во лжи, чтобы победить эту реальность, эту «правду», то есть, для того, чтобы *жить*» [7, S. 193]. Правда по своей сущности является собственным отрицанием, а именно заблуждением (самообманом, иллюзией). Согласно Ницше, заблуждению и иллюзии нет альтернативы: бытие должно быть «интерпретировано как небытие», то есть как «видимость» [8, S. 251]. Видимость, или, как еще говорит Ницше, заблуждение и иллюзия, есть условие возможности жизни, поскольку нет альтернативы заблуждению, иллюзии и видимости. «Неистинный мир заблуждения – это [...] не мир вымышленной фикции, а реальный мир человеческого бытия. Человеческое бытие вообще существует только благодаря вере в постоянное, то есть благодаря стремлению к организующему единству. Но то, к чему люди стремятся, никогда не может быть реализовано. Таким образом, они существуют только благодаря заблуждению» [8, S. 251].

Из этого следует, что ложь, с одной стороны, есть умышленный обман, поскольку она представляет и изображает положение вещей таким, каким оно не является в жизни. В этом смысле ложь постоянно находится в конфронтации с возможностью быть увиденной; через ложь вновь и вновь просвечивает правда. С другой стороны, ложь не является умышленным обманом, поскольку Ницше подчеркивает ее безусловную необходимость; это инстинктивный самообман, который очевидно достаточен для того, чтобы напомнить нам, что кажущееся нам реальностью есть лишь

непрочная паутина иллюзий. А что же такое иллюзии как не выдумки, неправда, искажения и подделки – то есть ложь? Но ложь не столько в смысле заблуждения относительно истинного, сколько в смысле неизвестности, как в действительности обстоит дело с представленными обстоятельствами или вещами.

На фоне этой мысли можно дать такой ответ на изначально поставленный вопрос: трагическое заключается в том, чтобы осознавать, что мы живем в призрачном мире, в мире иллюзий и лжи, паря над пропастью самообмана, но не впадать при этом в отчаяние. В этом смысле трагическое – это пограничный опыт, но не только. Дело не в опыте пограничной ситуации, а в том, что потрясенный взгляд в пропасть заблуждения и иллюзорности человеческого бытия компенсируется «пессимизмом силы»: пессимизмом смеющейся радости и спокойного веселья перед лицом неизбежности лжи и иллюзии. – Как же следует это понимать?

То, чего добивается познание, есть результат созидательной, упрощающей, формирующей и сгущающей силы, присущей человеку, а потому – иллюзия [3, S. 146]. В платоновской мысли об «истинном» мире для Ницше открывается проекция мира, свободного от становления и преходящести; согласно Ницше, метафизическая воля к истине есть в конце концов не что иное, как «форма воли к иллюзии» [7, S. 229]. Такая иллюзия есть метафизическое утешение, за которое держится пессимист, даже если его смех свидетельствует о том, что он сумел разглядеть ее лживость и обманчивость. Он смеется над ложью, поскольку является познающим пессимистом-теоретиком, который знает, что иллюзия неизбежна и обязательна. Если бы он был этическим пессимистом, смеяться бы он не смог и впал бы в отчаяние. Смешанное с ужасом желание, охватывающее этического пессимиста перед лицом иллюзии, пробиваясь через смех, не знает скорби в связи с неотвратимостью разрушения вымысла о «мире постоянства». «Вы должны были бы [...] научиться смеяться, если все же хотите хоть как-то остаться пессимистами», – советует Ницше своим воображаемым друзьям. – «Может быть поэтому [...] вы когда-нибудь пошлете к черту все метафизические утешения [...]» [1, S. 22]. Такой пессимизм, который Ницше характеризует как «пессимизм силы», следовало бы назвать трагическим, поскольку его смех над иллюзорной верой в некий «мир постоянного» борется с пониманием, что ложь, то есть обман и заблуждение, необходимы для жизни в таком мире, который определяется преходящестью и становлением.

Даже если «пессимизм силы» есть выражение позиции противостояния миру «постоянного мира» и согласия с человеческим самообманом относительно истинной природы этого мира, тем не менее, следствием пессимизма силы не может быть трагическое. Его следствием является смягченный нигилизм.

В той же малой степени *трагическое* может быть результатом «толкования» мира; в противном случае трагическое у Ницше было бы подобно этическому пессимизму, который он так критикует у Шопенгауэра. По-видимому, трагическое у Ницше провоцируется мощным впечатлением от неизбежности разрушения, уничтожения без компенсации правдой как ценностью. Но и этот ответ кажется проблематичным, хоть он и закладывает основу в понимание трагического как нигилизма.

Нигилистическое суждение о традиционном единстве правды, бытия и ценности кажется необходимым, если иметь в виду правду, бытие и ценность в свете знания об их иллюзорности. Об этом говорит то, что человек вынужден жить в «мире», то есть в совокупности обстоятельств, даже тогда, когда мир, в котором он может жить, уже не является для него данностью. Но видимость, иллюзорность обустроенного и объявленного «вечным» порядка, служащего вместилищем растущей жизни, должна быть уничтожена, точнее сказать, сведена к минимуму, и именно потому, что жизнь нуждается в таком вместилище – без порядка жизнь невозможна. Однако жизнь и порядок соотносятся друг с другом по контрасту: полная неустойчивость всего реального угрожает порядку постоянного, столь необходимому для человеческой жизни. Как учит Ницше, это – «вечное и единое становление, полная неустойчивость всего реального, которое беспрестанно действует и становится, но никогда не существует, ужасающее и оглушающее представление, подобное ощущениям человека во время землетрясения, когда он теряет доверие к твердой земле» [8, S. 247]. Переживая этот пограничный опыт, пессимизм силы обращается к пропасти самообмана, не возвращаясь к новым самообманам.

## II. Промежуточное наблюдение.

Георг Пихт толкует формулу Ницше о «пессимизме силы» [1, S. 12] как осознание того, что только через признание необходимой иллюзорной видимости мышление может быть «понято как набросок будущего» [8, S. 278]. Из этого, согласно Пихту, выводится задача, которую ставит Ницше, а именно – «видеть правду с точки зрения художника, а искусство

с точки зрения жизни» [1, S. 14]. Ницше рассматривает процесс создания иллюзорной видимости длящегося мира из перспективы художника. Поэтому проблема «пессимизма силы» состоит не в том, чтобы разрушить обманчивое представление людей о якобы существующей последовательной и действительной реальности вещей. Проблема и не в том, что без этого заблуждения люди не смогут воспринимать данный им мир как наполненную смыслом целостность, которая имеет смысл потому, что обнаруживающийся в ней порядок позволяет в ней же ориентироваться, то есть жить. Вопрос в том, каким образом связать эту задачу со сформулированным Ницше «осознанием иллюзии и заблуждения как условия познающего и чувствующего существования» [6, S. 464].

Наконец, можно утверждать, что знание заблуждения не упраздняет заблуждения, но обязывает к новому, искусному формированию данного человеку жизненного порядка. Этот аспект Ницше выделяет в своем замечании, что «ложь [...] – это гуманность познающего» [2, S. 49], причем гуманность понимается здесь не в моральном смысле. «Осознание иллюзии и заблуждения [...] было бы невозможным и непереносимым» [6, S. 464] для познающего, если бы с помощью этого осознания он не приходил к мысли, что мир не задан ему изначально, а явлен лишь его порядок. Формирование человеческого существования как эстетического феномена, без которого осознание иллюзии и заблуждения было бы непереносимым, есть ни что иное, как формирование данного человеку порядка.

Исходя из посылки, что осознание иллюзии и заблуждения является условием человеческого существования, можно понимать тезис Ницше о том, что на правду следует смотреть с точки зрения художника, а на искусство с точки зрения жизни, следующим образом: процессуальный характер истины иллюзорной видимости не может быть точно понят, если «он связывается только со становлением-для-себя того, что уже само по себе задано» [8, S. 294]. Если человеческое существование невыносимо без «эстетического», то есть искусного переформирования, а истина иллюзорной видимости не ограничивается тем, что уже задано, а распространяется и на то, что еще только должно быть создано, то мнение Ницше о правде как об иллюзорной, то есть обманчивой видимости, в которой явлено настоящее, приобретает программный характер. Эта програмность находит свое отражение в учении Ницше о языке, поскольку формирование представленного человеку порядка бытия связано с языком. Таким образом я перехожу к третьей части своих рассуждений, которая будет посвящена воззрениям Ницше на язык.

### III. Правда как зеркало человеческих мнений.

Как гласит учение Сократа в его платоновском изложении, постижение мира связано с пониманием, медиумом которого является язык. Открытие Сократом сферы языковых понятий обнаруживает следующую взаимосвязь: с помощью языка мы выражаем наш опыт для другого, чтобы сделать его понятным и выразимым для самих себя. Ницше разделяет мнение Платона о важнейшем значении языка для понимания человеком мира и для самопонимания, но сомневается в том, что потребность в языковом понимании свободна от любых практических целей. Приведенная в платоновском диалоге «Кратил» контрверза о том, проистекают ли языковые обозначения из конвенции или они обусловлены естественной схожестью с вещами, кажется Ницше беспредметной, поскольку для него слова являются произвольно установленной конвенцией, изобретением, служащим практическим целям. Она беспредметна еще и потому, что отражает перспективу человеческого восприятия вещей и использования их для своих собственных целей. Язык является не отражением объективного, реального, истинного или наличного мира, а лишь декларацией нашего отношения к вещам в форме метафор. Забвение метафоричности языка приводит к иллюзии, будто язык имеет непосредственное отношение к реальности и сущности вещей.

А если язык конституирует доступ человека к миру, не имея при этом связи с «истинностью реально наличного», то тогда язык производит и передает не истинное знание (эпистема), а лишь мнение (докса). Этот вывод, к которому Ницше приходит в 1872 году в своих заметках к лекции по риторике, представляет собою следствие предположения об иррелевантности проблемы истины в языке. Поскольку у нас нет слов, которыми мы могли бы описать реально наличное, между мнением (докса) и истинным знанием (эпистема) не существует альтернативы. Затруднение, вызванное невозможностью доступа к истине и сущности вещей, человек преодолевает с помощью *иллюзорной видимости*, то есть отражения человеческих мнений. «Жизнь в иллюзорной видимости как цель» [4, S. 199] – эта программная формулировка Ницше означает, что иллюзия есть человеческое искусство, с помощью которого преодолевается недостаток истины.

Следует задаться вопросом, может ли такое понимание представлений Ницше о языке быть основой того, о чем шла речь в первой части моих рассуждений, в первом приближении к пониманию трагического у Ницше, то есть – нигилизма. Кажется, что Ницше сам противится подобному толкованию. Пометка, которую можно найти во фрагменте из «Дневника

нигилиста», гласит: «*Катастрофа*: [...] разве ценность всех вещей не в том, что они фальшивы? разве отчаяние не является следствием веры в божественность истины, разве ложь и подделка (фальсификация) ценностного смысла не являются смыслом, целью[...]» [7, S. 139–140]. Определение лжи как привнесения смысла в вещи и обстоятельства, которые его в принципе лишены, проясняет два аспекта. Во-первых, то, что мы соглашаемся с необходимостью и неизбежностью лжи и даже хотим ее, признавая ее специфическую жизненную ценность. Во-вторых, это опасность отчаянного фатализма перед лицом того, что неистинность, в которой мы живем, не является ни случайной, ни преходящей и не может быть преодолена. Вопрос в том, является ли нигилизм единственным выводом из теории языка у Ницше. Этот вопрос приводит к третьей и последней части моих рассуждений.

#### IV. Язык и ценности.

В 1880-е годы Ницше вводит в свой пессимистично-трагичный диагноз человеческого бытия фигуру философа, веселого создателя ценностей. Но что может иметь ценность? Те истины, без которых человек не может обойтись, хотя они фиктивны и иллюзорны по причине своей фиксированности в языке. Истина – это не рецептивное осознание чего-то, что уже существует само по себе и должно быть лишь найдено и открыто, но нечто сотворенное, выдуманное [3, S. 209]. Задача философа – активно содействовать этому процессу, становясь создателем языка и ритором. Впрочем, не совсем ясно, как Ницше представляет разделение этих ролей. Языкотворчество и риторика не идентичны, хотя рассуждения Ницше и указывают именно на это.

Если язык является словарем поблекших метафор, «которые уже совершенно не соответствуют изначальным сущностям» [1, S. 879]; если язык воспроизводит метафоры вещей, отражающие наши интерпретаторские возможности, то философ может использовать поэтически-креативный потенциал и художественный характер языка двояким образом. Во-первых, создавая метафору посредством художественного акта – метафору, с помощью которой новые оценки переводятся в воспринимаемые другими людьми знаки. Во-вторых, добиваясь (или не добиваясь) согласия других на новые оценки с помощью своей риторической компетентности. Сила этого начинания заключается изначально не в самом языкотворчестве как таковом, а в особом языковом творчестве: в возможности разобраться с непознаваемым, которую обещают слова-имена. Но до этого творцу языка у Ницше нет дела: его задачей становятся не имена, а метафоры.

Антропоцентризм языка, на который постоянно указывает Ницше, означает, что человек создает себе представление о мире посредством языка, а затем распространяет это мнение на мир, говоря и думая на языке. Так человек осваивается в мире с помощью языка. Но философствующий творец языка выпадает из этой интимной близости именно с помощью метафоры. Созданные языкотворцем метафоры изменяют вышеупомянутую достигнутую в языке общую интерпретацию мира, поскольку метафора изначально противоположна общепринятым понятиям: содержательно-образный момент метафоры является основой ее дальнейшей понятийной экстенсификации. Когда язык подвергается изменениям, разрушается тесное единство с миром, обеспеченное для человека языком. Когда языковые переоценки сбивают с толку, философу на помощь приходит риторика, не для того, чтобы убедить в том, что мы лучше знаем, а для того, чтобы утвердить приемы переоценки, с которыми философ подходит к вещам. Если другие соглашаются с переоценочной точкой зрения на вещи и обстоятельства, если такая позиция кажется убедительной, значит, она приемлема.

Характер осуществляемой таким образом переоценки выражается в последовательном снятии всего того, что стабилизируется, закрепляется и тем самым затвердевает в своей форме. И если из перспективы человеческих отношений к миру, не учитывающих его иллюзорность, следует, что условия нашего существования предписывают нам, что мы можем воспринимать, а чего не можем, то задача языкотворца состоит в том, чтобы открывать возможные миры и просторы сознания с помощью придания вещам названий. Согласно Ницше, языкотворец является законодателем, поскольку в языковых обозначениях он утверждает то, что вообще потенциально должно быть доступно (всеобщему) вниманию (а что нет). И делает это, руководствуясь осознанной необходимостью лжи и обманчивого заблуждения.

Осознанная необходимость последовательного пребывания в заблуждении не снимает неправду или заблуждение; мы должны сознательно жить в неправде, и это облачает деятельность языкотворца в трагическое траурное одеяние. Трагическая скорбь является не следствием неизбежной утраты истины, а следствием переоценки ценности истины: потребность в «мире устойчивого», которая выражает волю к истине [7, S. 365], предшествует «неверию в становящееся, недоверию к становящемуся, пренебрежению становлением» [7, S. 365]. Стремление к миру постоянного ослабляет становление; в этом смысле иллюзия, ложь и обман могут быть причислены к необходимым обстоятельствам человеческой жизни: «Оценивание [...] есть жизнь», отчего она и не

может быть «уничтожена» как акт оценивания [5, S. 234, 214]. Это не означает, что предполагаемые оценки должны быть устранены, если оно перестают быть обстоятельствами человеческой жизни. Уничтожить ложь значило бы поставить под вопрос обстоятельства человеческой жизни. А поставить на место лжи любую другую ложь, не принимая во внимание ее ценность, значило бы занять позицию безальтернативного нигилизма.

Переоценивая ценности, действуя как «пессимист силы», философствующий языкотворец подвергает себя опасности нигилизма, не будучи им побежденным. В процессе переоценки, переоценивающий возвращается к пропасти самообмана и обращается к новому самообману. Нигилизм является возможным следствием из теории языка Ницше, но не единственно возможным, хотя в представлениях о языке Ницше непрерывно играет с ним. И именно там, где речь идет не столько о переоценке ценностей, то есть о модификации перспективы, в которой мы воспринимаем вещи и мир, а сколько о манипуляциях языка в форме реабилитации риторики. Возвращение к пропасти самообмана и обращение к новому самообману посредством риторики превращают ницшевского переоценивающего языкотворца в философа трагической скорби, даже если он знает – «ложь нужна, чтобы жить», что, согласно Ницше, вообще присуще «ужасному и сомнительному характеру» [7, S. 193] человеческого бытия, в котором переоценивающий языкотворец ничего не может и не хочет изменить.

1. Nietzsche F. Die Geburt der Tragedie (1871) // Nietzsche F. Kritische Studienausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari.– Bd. 1.– München, 1988.
2. Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente November 1882–Februar 1883 // Nietzsche F. Kritische Studienausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari.– Bd. 10.– München, 1988.
3. Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente 1884–1885 // Nietzsche F. Kritische Studienausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari.– Bd. 11.– München, 1988.
4. Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente Ende April 1870–April 1871 // Nietzsche F. Kritische Studienausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari.– Bd. 7.– München, 1988.
5. Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente Sommer–Herbst 1882 // Nietzsche F. Kritische Studienausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari.– Bd. 10.– München, 1988.
6. Nietzsche F. Die fröhliche Wissenschaft (1886) // Nietzsche F. Kritische Studienausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari.– Bd. 2.– München, 1988.
7. Nietzsche F. Nachgelassene Fragmente 1887–1889 // Nietzsche F. Kritische Studienausgabe, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari.– Bd. 13.– München, 1988.
8. Picht G. Nietzsche.– Stuttgart: Einführung Enno Rudolph, 1988.